

А. И.
КУПРИН

Избранное



Александр Куприн

Воробьиный царь

«Public Domain»

1923

Куприн А. И.

Воробьиный царь / А. И. Куприн — «Public Domain», 1923

«Жил-был на свете поэт. А что он был поэт, все узнавали издали, когда видели его черную шляпу с большими полями, длинные волосы до плеч, бархатную коричневую куртку, галстук белой бабочкой и толстый бумажный сверток под мышкой. В свертке были все стихи. Иногда поэт читал их вслух своим знакомым, и тогда уже никому не позволялось ни шептаться, ни сморкаться, ни чихать, ни кашлять, а жена поэта торопливо вытаскивала у гостей изо ртов папиросы и бросала в пепельницы. Если кто-нибудь подымал руку, чтобы почесать нос, то поэт поверх очков стрелял в него таким быстрым и сердитым взглядом, что неосторожный съеживался и прятался за спину того, кто сидел впереди...»

© Куприн А. И., 1923

© Public Domain, 1923

Александр Иванович Куприн

Воробьиный царь

Жил-был на свете поэт. А что он был поэт, все узнавали издали, когда видели его черную шляпу с большими полями, длинные волосы до плеч, бархатную коричневую куртку, галстук белой бабочкой и толстый бумажный сверток под мышкой. В свертке были все стихи. Иногда поэт читал их вслух своим знакомым, и тогда уже никому не позволялось ни шептаться, ни сморкаться, ни чихать, ни кашлять, а жена поэта торопливо вытаскивала у гостей изо рта папиросы и бросала в пепельницы. Если кто-нибудь подымал руку, чтобы почесать нос, то поэт поверх очков стрелял в него таким быстрым и сердитым взглядом, что неосторожный съеживался и прятался за спину того, кто сидел впереди.

У поэта был домик, а при домике садик: всего одна березовая аллея. Также было у него очень много разных птиц: чижи, канарейки, скворцы, малиновки, овсянки, дрозды, клесты, пеночки, синички и еще другие, не считая сороки и попугая. Поэт прилежно о них заботился. Знакомые говорили: «Как он любит своих птичек! Сразу видно доброе сердце».

Зимой птицы помещались в клетках, которые стояли и висели на окнах, чтобы было больше света. Летом же, в хорошую погоду, поэт выносил клетки с птицами в сад и развешивал их вдоль аллеи, на березовых пахучих ветках. «Пусть, – думал он, – птички порадуются солнцу и зелени на свежем воздухе...» А сам ходил взад и вперед по дорожке и любовался «своими маленькими пернатыми друзьями». Так он называл своих птиц, когда с гордостью показывал их знакомым. «Это все мои младшие братья и сестры», – говорил он.

Вот так-то однажды в июле развешал он своих маленьких пернатых братьев и друзей по ароматным веткам, среди зелени блестящих, суевливых листьев, походил-походил по дорожке, послушал птичий свист, щебет и чириканье и, наконец, сел на зеленую скамеечку. Сел и задумался. Надо ему было для новых стихов отыскать рифмы на два слова: парень и Федор. На Федор вот уже третий день ничего не выходило, а на парень подобралось только слово – «жарень». Но существует ли такое слово, поэт не знал и поэтому спрашивал сам себя: можно ли про знойный летний день выразиться: «Стояла такая жарень»? Не заключает ли его критика?

Он так глубоко погрузился в свои размышления, что когда ему захотелось курить и он, полезши левой рукой в карман за портсигаром, невольно должен был обернуться налево, – то даже испугался и довольно громко вскрикнул. Рядом с ним, всего в аршине, сидел на его скамейке древний, маленький, сгорбленный старикашка и тихо смотрел на него. На старичке было серое ветхое пальто со старомодными крылатыми рукавами, а на голове что-то такое же серое, старинное и с кисточкой: не то башлык, не то капюшон, не то надетый глубоко, по самые уши, колпак. Из колпака же выглядывало крошечное личико, все состоявшее из мелких перепутанных морщин, скорее доброе, чем злое, и от старости почти безволосое, так кое-где торчали реденькие белые прядки. Нос повис вниз крючком, острый подбородок посунулся вперед и вверх, а между ними запал внутрь беззубый рот. Но глаза у старичка были блестящие, зоркие и быстрые, как у воробья, а вокруг губ играла приветливая и немножко лукавая улыбка.

– Простите, я вас потревожил, – сказал старикашка. Голос у него был слабенький, тонкий и глухой. – Устал я... Думал – посижу, отдохну.

– Что же. Отдохните, – позволил поэт не особенно любезно. – Места не просидите. Старичок засмеялся из своего башлыка. Смех у него был тоже слабенький, но очень приятный, а лицо сделалось просто прелесть какое доброе и привлекательное.

– Хе-хе-хе... Как это вы остро изволили выразиться. Бойкая теперь молодежь пошла.

– Да, нам пальца в рот не клади, – сказал писатель басом и зажег спичку. – Не хотите ли покурить?

Старичок слегка отмахнулся малюсенькой худой ручкой от табачного дыма и ответил вежливо:

– Благодарствуйте. Не имею привычки. Не вижу толку в этом занятии.

Поэт скосил на него левый глаз:

– Но как же это вы так незаметно подошли, что я вас не услышал?

– Да ведь посмотрите сами, какой я легонький. Нечто вроде тени. Вы же замечаться изволили, парили в облаках... Извините за нескромный вопрос: изволите быть поэт?

– Гм... А хотя бы? – сказал поэт, снял шляпу и тряхнул длинными волосами.

– Так, так, так... Возвышенное занятие. – Старичок поднял голову и, не торопясь, обвел взглядом деревья. – А это что же у вас тут? Птички?

– Слоны, – сказал поэт. Старикашка опять засмеялся приятно:

– Хе-хе-хе!.. Поистине находчивый ум! Слоны! Конечно, если всякому видно, что это птички, то вопрос мой был наивен и напрасен.

– Это – пожалуй, – согласился писатель. Оба помолчали. Писатель, набрав дыма в рот, старался пускать его через выпяченную нижнюю губу в ноздри. Старичок нерешительно покашливал, точно приготовляясь что-то сказать. Выждав минутку и еще раз крякнув, он спросил с прежней учтивостью:

– Кхе... И значит... так сказать... в клетках их держите?

– В живорыбных садках.

Старичок так и затрясся от смеха, даже кисточка на его капюшоне запрыгала во все стороны.

– Хе-хе-хе-хе-хе!.. Как ловко изволили отрезать... Меткий у вас язычок.

– Такое наше дело, – пробасил поэт.

– Похвалы достойно, – подтвердил старичок и вдруг сразу, перестав улыбаться, сказал серьезно, почти строго:

– А позвольте вас спросить, ежели только вам будет не в труд и не в обиду...

– Спрашивайте. Мне все равно делать нечего.

– А позвольте спросить: как вы полагаете, удобно ли, хорошо ли чувствует себя птица в клетке? И, понимаете ли, не курица и не индюшка, а птица лесная или полевая... Ладно ли ей в клетке-то? Особенно в такую расчудесную погоду?

Поэт как будто немного обиделся и сбоку, сурово и недоверчиво поглядел на соседа:

– А это вы уж сами у нее спросите.

– Я и то спрашивал, – сказал старик без малейшей шутливости. – Я спрашивал и знаю: очень ей скучно в клетке, до чрезвычайности тоскливо, тесно и мучительно.

– Привыкает.

– И человек, говорят, к тюрьме привыкает. А пока привыкнет, сколько страдания. Поэт фыркнул носом.

– Скажете тоже. То – человек, а то – птица. Старик тихо покачал головой.

– Смотри какая птица. Иная птица в неволе совсем жить не может. Возьмите вы хоть простого воробья. Сколько он, по-вашему, на свободе пролетает в день верст? Не меньше, по моему, чем пятьсот, а то и больше. А человек, который в тысячу раз его больше, проходит верст пять или десять в среднем. И человек движется всего лишь в ширину и в длину, а воробей, кроме того, еще и в третьем измерении – вверх: две секунды – и он выше колокольни. Теперь я спрашиваю: во сколько раз воробей должен чувствовать неволю тягостнее, чем человек? Ведь если человека замуровать в каменный мешок и оставить ему только дырку для дыхания и пищи, то и тогда он будет в тысячу раз меньше стеснен, чем воробей в клетке. Оттого-то многие птицы в клетках и не выживают: ласточки, жаворонки, вот и воробьи тоже.

– Это правда, – угрюмо согласился поэт. – Я пробовал сажать воробьев. Не выносят. Бьется, бьется о прутья, не ест, не пьет, а утром поглядишь – лежит на спинке и лапочки скрючены... конец.

– И много раз изволили пробовать? – спросил старичок участливо, словно жалея не воробьев, а поэта.

– Как вам сказать... раза четыре...

– Че-ты-ре! Значит, три-то смерти были совсем напрасные. Не так ли?

Поэт не ответил, но еще раз тайком покосился налево, и – странно – на сердце у него вдруг стало тревожно и невесело. Старик не глядел на него и продолжал важным голосом:

– Воробья мы оставим. Всему миру известно, какой он буян, забияка и вольница. Но ведь разные бывают характеры как у птиц, так и у людей. Иной человек от несправедливой обиды на нож лезет, и все горе у него пройдет в крике, в драке, в жестокой смерти. А другой спрячет всю свою боль в сердце, и всю жизнь мучается молча, и вянет, и тает потихоньку, пока не захерет и не уйдет совсем... Такие тоже и птицы есть... Тихие, безответные... Их еще больше мне жалко.

– Однако поют же они в клетках, – попробовал возразить поэт.

– Какое же, мой милый, ихнее пение в клетке, если сравнить со свободной песней? Одна тоска и жалоба. Это ведь надо уметь различать.

– А вы умеете? – насмешливо спросил поэт.

– Я умею, – твердо сказал старичок, и поэт почему-то тотчас же поверил ему. – Я птичий язык хорошо понимаю. Вот, например, поглядите вы на эту клетку со щеглом. Видите, теперь на нее сел воробей. У них идет между собою разговор. Воробей – он ведь всегдашний задира и насмешник, – воробей спрашивает: «Ну что? Сидишь, дурачок?» А щегол ему: «Сижу, братец воробышко. Ужасно давно сижу. Не знаешь ли секрета, как улететь?» – «Нет, братец щегол, не знаю я секрета. Ну, сиди, а мне некогда...» Видите – и улетел и скрылся. Эгоисты эти воробьи.

– Необычно вы как-то говорите, – сказал, криво улыбаясь, поэт. Он чувствовал, что занемог каким-то тайным, тяжелым беспокойством, и хотел развязностью подкрепить себя. – Как будто у вас в голове не все в порядке. Вы сами-то кто такой будете?

– Я? Волшебник, – ответил старик спокойно и деловито.

Поэт отшатнулся назад. Он испугался: а вдруг этот старик сбежал из сумасшедшего дома? И костюм на нем какой-то диковинный. Но поэт еще раз попытался успокоить себя шуткой:

– Волшебник? Может быть, умеете вытягивать изо рта ленты? Глотать горящую паклю? Толочь в шляпе часы, а потом вынимать из нее сковороду с яичницей или сосуд с золотыми рыбками? Или вы шпагоглотатель и, уж конечно, престижиджигатор шаха персидского, украшенный орденом Льва и Солнца?

– Ах, совсем нет, – скромно возразил старичок. – Повторяю, я всего только волшебник, а не фокусник. Да и то из самых маленьких. Я – Воробьиный царь.

– Прикажете этому верить?

– Как вам угодно. Хотите верьте, хотите не верьте.

А лучше – поверьте. И хорошо еще было бы, если бы вы больше птиц в клетках не держали.

Поэту показалось, что его голову окутывает тонкая, слегка щекочущая паутина. Он невольно провел рукою по лбу и волосам.

– Ладно, – сказал он, все еще пробуя овладеть собой. – Если вы при мне сделаете какое-нибудь чудо и докажете этим, что вы действительно волшебник, то при вас я выпущу всех моих птиц из клеток.

– Помните же, что вы сказали, и от своих слов потом не отрекайтесь, – торжественно произнес старичок. Теперь он прямо глядел в глаза поэту, и взгляд его был строг и пронзителен. – Дайте мне руку.

Поэт протянул ему левую руку, и она сама ему показалась холодной в сухих ручках старичка, из которых струились какие-то дрожащие теплые волны.

– Посмотрите, – продолжал старик ласково, но повелительно. – Вот у меня в руках магическая лента, и я обвиваю ее вокруг ваших двух пальцев – среднего и безымянного.

Поэт поглядел. В тонких пальцах старика был и в самом деле кусочек старой, грязной, почти черной от времени ленты. Кое-где на ней поблескивали золотые точки. Трудно было решить, кусок ли это очень древней парчи или какая-нибудь материя, вышитая золотой канителью. С неудовольствием поэт заметил, что его левая нога вдруг задрожала мелкой дрожью и каблук начал выбивать дробь по песку дорожки...

– Не бойтесь, – сказал мягко старик, – я не сделаю вам зла, я из разряда добрых волшебников. Теперь я произнесу всего лишь одно слово, готовьтесь. И он сказал совершенно спокойно:

– Цвирк.

Все вы, конечно, бывали в кинематографе и видали внезапные перемены картин. Только что перед вами было бурное море и палуба тонущего корабля, и вдруг, без всякого промежутка, мгновенно вы очутились в роскошном дворцовом зале. То же самое случилось и с поэтом. Не успел еще волшебник закончить своего магического воробьиного слова, как поэт очутился на вершине такого громадного дерева, какого, вероятно, никогда не существовало на земле. Кругом была густая листва из листьев величиною с большую дверь, а сам поэт находился внутри тесной железной клетки, в которую он был втиснут таким образом, что ему приходилось сидеть на корточках, обхватив руками колени и уткнувшись между ними подбородком. Очень глубоко под ним, в сильно уменьшенном виде, можно было легко различить его собственный домик и аллею. А кругом него носились птицы, те самые птицы, которых так любил и в которых так много понимал толка бедный поэт, но теперь они были поразительной, именно сказочной величины. Пеночка, например, ростом со старого барана, щегол – с небольшую лошадь, дрозд – со слона, а пролетающий мимо голубь был размерами с большой дирижабль.

Все птицы, пролетая мимо клетки, в которой сидел поэт, беспрестанно касались ее своими крыльями, и от этого клетка раскачивалась вверх и вниз, влево и вправо, как корабль во время урагана. У поэта закружилась голова и позеленело в глазах.

Исполинский воробей вдруг присел на крышу клетки, затенив поэту солнечный свет. – Что? Сидишь? – спросил воробей. И поэт даже не удивился тому, что понял воробьиный язык.

– Ох, сижу, батюшка воробышко, – простонал он. – Кабы ты знал, как мне противно сидеть!

– Ничего, посиди, привыкнешь, – лукаво крикнул воробей и – фррр! – улетел, как стрела. Потом на ближнюю ветку уселся черный дрозд-пересмешник и, легко покачиваясь вместе с плавными движениями ветки, начал говорить следующие стихи:

Жил поэт – циви-цивиц —
Он ужасно любил птиц.
Все сажал их в клетки
И вешал на ветки.

Поэт не только понял дрозда, но, несмотря на приступы морской болезни, успел подумывать: стишки, однако, неважные, рифмы старенькие и ритм хромает; у него «любил» выходит с ударением на «ю»: «любил», а в слове «вешал» – на «а».

Нехорошие стихи, да и содержание неумное...

Но тотчас же рядом с дроздом с размаху плюхнулся на ветку, сильно угнув и раскачав ее, гигантский скворец и заверещал оглушительным голосом продолжение стихов:

Но настал ужасный миг,
И поэт – чиви-чивик —
Очутился в клетке
На зеленой ветке.

– Что? Хорошо? – спросил скворец, самодовольно оглядываясь кругом.

– Bravo! Bravo! Великолепно! Бис! – закричали другие птицы, большие и малые.

– Позвольте-с! – закричал дрозд в негодовании. – Песня эта принадлежит мне, а он только перехватил ее у меня по обычному скворечьему нахальству.

Между птицами загорелся спор, но поэт уже не мог им интересоваться, потому что в это время он впал в другое состояние – еще худшее, чем морская качка и чем обида от птичьих издевательств.

Он почувствовал, что для него нестерпимо долго растянулось время. Секунда стала казаться неделей, минута – целым годом, а час, должно быть, целым столетием. В уме он знал, что, например, для синицы перескочить с одной ветки на другую – дело четверти секунды, а ему казалось, что этому скачку никогда не будет конца. И первым последствием этого странного явления было то, что поэт почувствовал невыносимый голод.

– Как я есть хочу-у-у! – закричал он жалобно, точно завыл. Рядом с ним вдруг очутилась ворона (о размерах ее мы не будем говорить – читатель их сам представит). В клюве у нее была большая телячья нога – жареная и уже порядком обглоданная, но на ней еще оставалось для поэта порядочно жилок и хрящиков.

– Сознайся во всеуслышание, – сказала ворона, – что ты злой человек, и я тебя накормлю.

Поэт тотчас же с готовностью крикнул:

– Я злой, злой, злой человек! Злой!

– Это правильно, – подтвердила ворона и просунула ему кость сквозь два железных прута.

Поэт с жадностью накинулся на телятину, но едва он обглодал кость начисто, как опять потянулись дни и недели, и ему до смерти захотелось пить, а уже на ветке сидел попугай, державший в клюве за дужку ведро с водой, и говорил:

– Скажи громко, что ты, поэт, дурак, и я тебя напою. И опять с удовольствием поэт закричал:

– Поэт – дур-рак. Поэт – дур-рак!

– Замечательно верно, превосходно сказано, – хором подхватили остальные птицы, а попугай, согласно обещанию, напоил его водой из ведерца, в котором плавала шелуха от зернышек и еще какие-то белые комочки.

Но прошел еще месяц, и поэту сильно захотелось курить. Подлетела сорока – известная воровка – и сказала, глядя куда-то вдаль одним глазом:

– Вижу я, там, далеко на дороге, какой-то человек бросил окурочек сигары. Я могу тебе его принести, только, пока я летаю туда и назад, ты все время говори: «Так мне и надо».

– Так мне и надо, так мне и надо, – радостно зачастил поэт. И сорока принесла ему окурочек прескверной сигары, правда, маленький, замусленный, но в нем еще тлел огонек, и поэт покурил с наслаждением.

И опять прошло что-то страшно много времени. Ни есть, ни пить, ни курить ему теперь не хотелось. Он понял вдруг, что все эти желания пусты, мелки и ничтожны перед чувством неволи. «Сколько уже лет я сижу в клетке, – подумал он, – и сколько столетий мне еще осталось сидеть». Тогда стал он горько плакать, вытирая слезы о колени, так как сидел он, согнувшись в три погибели. И стучался он головой о железные прутья, и повторял, рыдая:

– Милые, дорогие мои, пустите меня, пустите на свободу!

– Все еще сидишь? – спросил сверху воробей.

– Миленький воробышко, все еще я сижу, все еще сижу. И конца не будет моему сидению. Не знаешь ли ты, серенький братишка воробышко, какого-нибудь секрета, чтобы выйти мне из клетки?

– Знаю я секрет, – отвечал воробей. – Скажи только такие слова: «Никогда больше не буду». И закричал поэт громко, от всей широты души, от всей глубины сердца:

– Никогда больше не буду сажать птиц в клетки! И опять произошло, как в кинематографе. Воробей только сказал «цвирк», и в тот же миг, без малейшей задержки, очутился поэт на зеленой скамейке. Над ним на березовых ветках в два ряда висели птичьи клетки, но старика с ним рядом уже не было. Пропал.

«Что это – сон или бред? Мечта?» – подумал поэт, но поглядел на свою руку и увидел, что на ней так и осталась переплетенная восьмеркой вокруг безымянного и среднего пальцев темная толстая старинная лента.

«В чудеса я не верю, – сказал сам себе поэт, – и вся эта история, должно быть, мне пригрезилась. Откуда же лента? Но все равно птиц мне почему-то стало жалко.

Отпущу-ка я их на волю, пока не случилось чего-либо худшего».

Поднялся поэт и стал растворять одну за другой клетки. Одни птицы вылетали стремительно, другие, точно не веря своему счастью и подозревая какой-то обман, долго не решались вылетать и прыгали по жердочкам. Один чижик так растерялся, что выскочил из клетки прямо ему на плечо, секунды две поглядел ему прямо в глаза блестящими черными глазами, и вдруг восторженно вскрикнул, и взвился к самому небу. «Может быть, хотя одна останется, – с горькой надеждой думал поэт, но нет – так ни одна и не осталась. – Какая неблагодарность!»

С тех пор поэт перестал держать птиц. Но так как он был еще очень молод и потому плохо понимал, в чем заключается настоящее самолюбие, то никогда и никому он не сознался, что причиной этому была жалость к птицам.

– Наскучило мне это занятие, – объяснял он знакомым, – и отрывает от работы.

А появление старой ленты он так и не мог себе объяснить. Заложил ее в какую-то большую книгу и сначала кое-когда на нее поглядывал, а потом надолго забыл, а когда вспомнил, то оказалось, что лента исчезла.

Может быть, она опять понадобилась Воробьиному царю?